

ЗИНАИДА ГИППИУС

О ВЕРНОСТИ

Зинаида Николаевна Гиппиус

О верности

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26119707

Аннотация

«Какая радость... Всегда радость, если человек, которого давно считаешь погибшим, вдруг оказывается живым. Радость, даже если его едва знаешь. А когда он друг? Тот, чье письмо сейчас передо мной, – мой давний друг. Никто, может быть, не знает так хорошо некоторых подробностей его приключений в 18 г., как знаем мы. Но в 18-м же году он уехал в Сибирь, в белую армию, и до сегодня мы ничего о нем не слыхали; все говорило о том, что он погиб...»

Зинаида Гиппиус

О верности

...Измены нет – душа одна.

Какая радость...

Всегда радость, если человек, которого давно считаешь погибшим, вдруг оказывается живым. Радость, даже если его едва знаешь. А когда он друг?

Тот, чье письмо сейчас передо мной, – мой давний друг. Никто, может быть, не знает так хорошо некоторых подробностей его приключений в 18 г., как знаем мы. Но в 18-м же году он уехал в Сибирь, в белую армию, и до сегодня мы ничего о нем не слыхали; все говорило о том, что он погиб.

И вот – он жив. Мало того, он сумел, – только что – только что, – вырваться из советского ада. Вырвался – но еще не спасен. Это надо помнить: если вырвешься в соседнее самостоятельное государство, заключившее с Москвой форменный мир, – ты еще далеко не спасен. Ибо знаменитое государство Совдепское, с которым ныне и великие державы собираются заключить мир, признать его «тоже» государством, – отделено от всех соседей (мирных!) *колючей проволокой*. И всех несчастных, которые от лютой смерти спасаясь, проползают за проволоку, пограничная стража «вышвыривает» обратно.

«Случайность спасла», – пишет мой друг. Второй раз прошел, на некотором расстоянии, а сначала «вышвырнули». И живет он в этом «свободном» государстве пока нелегально.

Конечно, ни проволоки, ни вышвыриванья, ничего этого нет в «мирных» договорах с Совдепией. Проволока требуется жизнью. Чумное место должно быть за кордоном. И очутись Лондон где-нибудь поближе, Ллойд Джордж еще не такую проволоку соорудил бы на границе с любезными ему теперь «людоедами».

Моего друга за эти четыре года непрерывно спасал случай, – а вернее Бог, потому что уж очень чудесна эта цепь случаев. Я не буду рассказывать его эпопею, тем более что окончательно мой друг еще не «спасен». Плен, каторжная тюрьма, несколько раз – четыре или пять – суд с приговором к расстрелу. Все болезни, всякие этапы, пересылка в Россию, регистрация, зачисление в красную армию... Наконец, при полной инвалидности, определение, – опять случаем, – на должность обучающего красных курсантов географии. Тут он был свидетелем, как его милые ученики расстреляли в один день около 500 человек (472, в таком-то месте, тогда-то, пишет он).

Новая «эволюция» большевиков отразилась на «учителе» тем, что его отставили от должности и приказали ехать в места весьма отдаленные, «под надзор (гласный) тамошней Ч. К.». Ну, это дело известное, и мой друг решил пока закончить свои мытарства, перебравшись за проволоку.

Спасение его тем чудеснее, что он – офицер первого военного выпуска (бывший студент) и на фронте с 14-го года. Самый настоящий «белый офицер».

Письмо его бодрое, радостное, *нормальное*, и... какая острая грусть в нем для нас, здешних! Какой стыд читать это письмо!

Я скажу, почему.

«Меня N. N. благословили ехать к вам», – пишет мой друг одному видному эмигранту:

«Я думаю, что я вам могу быть полезен». Он, если не больше, чем прежде, «непримирим» к русским владыкам, то лишь потому, что и прежде был непримирим до конца. И по-прежнему «готов на все».

Так он пишет... ибо не знает еще ничего. Еще думает, что здесь есть какие-то, подобно России, – «мы», есть какая-то совместность, а не каждый человек отдельно – против другого, отдельного. Думает, что его опыт ценен в чьих-то глазах и ценна его «непримиримость». Не знает, что здесь друзья – расходятся, чтобы приуготовить себе пути для схождения с врагами. Что здесь уже почти нет борьбы, и не нужны, поэтому, люди, «на все готовые...».

Нет глубже пропасти, чем вырылась она между здешними, эмигрантами, *забывшими* (а их много, очень много!) – и людьми тамошними, оставшимися. Ничего не забывшими – ничему не изменившими.

Измена – самая страшная, самая ачеловеческая вещь. Да-

же не аморальная, а именно ачеловеческая. Она предполагает отсутствие *памяти*. Память же – есть то, что делает из индивидуума – личность, отделяет человека от «особи». Измена – есть безответственность в самом полном значении слова. Она уничтожает человека целиком, – в прошлом, в настоящем, в будущем. Измена не есть перемена. Двигаясь вперед во времени – личность растет, – расширяется сознание, накапливается опыт; перемена в этом смысле – ежели мы назовем такое движение переменной – противоположна измене. В первом случае мы приобретаем, во втором – теряем. Движение – жизнь. Измена – смерть. Измена, все равно кому или чему, есть измена, прежде всего, самому себе.

Только она – яд, разлагающий общественность. В отличие от многих других ядов, – яд измены не теряет своей разрушительной силы даже в малых дозах. Измена в мелочах так же губительна для общественности (и для личности), как измена в деле более крупном. «Если ты в малом был не верен – кто поверит тебе в большом?»

Оттого во все века, везде, сознательно или инстинктивно, люди боялись «измены», как самого страшного врага, самого преступного «соблазна». Оттого ныне, в России, люди, возведшие в принцип «измену», взявшие ее за свою базу, – враги всего остального человечества, и будут ему врагами, пока существуют. Оттого они так неспособны к движению, к перемене, к росту, к «эволюции»: они апостолы чистейшего разрушения.

Соблазняются глупцы, невежды и ничтожества, подобные большевикам же: Ленин «эволюционирует», Троцкий «исправляется»! Но все настоящие *люди* знают, не умом – так сердцем: это не перемена, это не движение, это все та же крутящаяся цепь, ряд *измен*, углубление всераспада и – самораспада, конечно.

«Надобно в мир прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого приходит соблазн».

Это неизбежное «горе» приблизилось. Оно при большевистских дверях. Их окончательный распад не подлежит уже никакому сомнению. И тем досаднее, тем мучительнее смотреть на попадающих в сети соблазна теперь, сейчас, накануне конца. Ведь среди глупцов и невежд есть и люди невинные. Но и на них, увы, падает эта башня Силоамская...

Для них, невинных, не знающих, не начавших, м. б., как следует думать, или слишком измученных и покинутых на чужбине, я и пишу это. Я предупреждаю их, повторяю им: будьте верны себе; жизнь многое прощает, измену – никогда. Измена носит оплату внутри себя самой. С оставшимися там, на родине, живыми людьми – что мне говорить! Они все знают, все понимают их непримиримость святая тверже стали, – вот как у этого друга моего, что пишет, спасенный, такое ясное, бодрое письмо.

Он не знает, правда, что некоторым, очень многим, эмигрантам должно быть стыдно читать это письмо; но пусть! Не будем преувеличивать. Не будем унывать. Среди миллио-

нов русских беженцев, здесь – много таких же живых людей, как и там, много крепких духом. Если они чувствуют себя затерянными на чужбине, одинокими, покинутыми – они не должны забывать: эти дни – дни кануна освобождения России; и ей нужны сильные, крепкие, *верные*.

Год тому назад, на этих же страницах, было много упомянуто о «Союзе Непримиримых». Он жив, – еще бы! – этот таинственнейший из тайных, неуловимых для «товарищей», союз, рожденный органически, самой жизнью. Я напоминаю о нем; теперь как раз время. Напоминаю: его членом становится всякий, кто скажет следующее:

1) «Что бы Россия ни переживала (и я лично), где бы я ни был, и где бы, и в каком положении, ни были большевики, – я не способен ни на какое их внутреннее принятие, ни на какое примирение с ними и с III Интернационалом. Я не способен, ни теперь, ни впредь, ни на какое им содействие, не будучи к тому принужден физическим насилием.

2) Изменяя вышесказанному, я изменяю самому себе, и моя измена должна считаться признанием моей личной негодности».

Это все. И, кажется, все, что я могу сказать о «Союзе Непримиримых» в печати. Прибавлю только, что зародившись в России, имея практическую задачу облегчения первых шагов новой послебольшевистской русской власти, а также внешнего спасения и морального оправдания русских людей, – Союз переселился и в Европу. По мере того, как

волны русского населения перехлестывают границы, – он оказывается нужным столько же здесь, сколько там, в России.

В тяжких условиях беженства человек, даже не слабый, легко теряется, становится безоружным против соглашательских провокаций. Но если он член «Союза Непримиримых» – он помнит себя, верен себе и России, знает, что не один и не забыт.

Да, если не прощается измена, то не забывается верность.

Двадцать второй год застает Россию еще в цепях. Но да будет он годом ее освобождения. Это не пустое пожелание. И не пророчество. Это просто жизненное, живое ощущение совершающегося. То же самое, что в России, у оставшихся. Письмо моего друга дышит этой близкой радостью.

«Они все вместе *ждут*. Они бодры» – и *верны*.

Будем же и мы с ними; будем и мы верны... новой, *свободной*, России. Ей верные нужны.